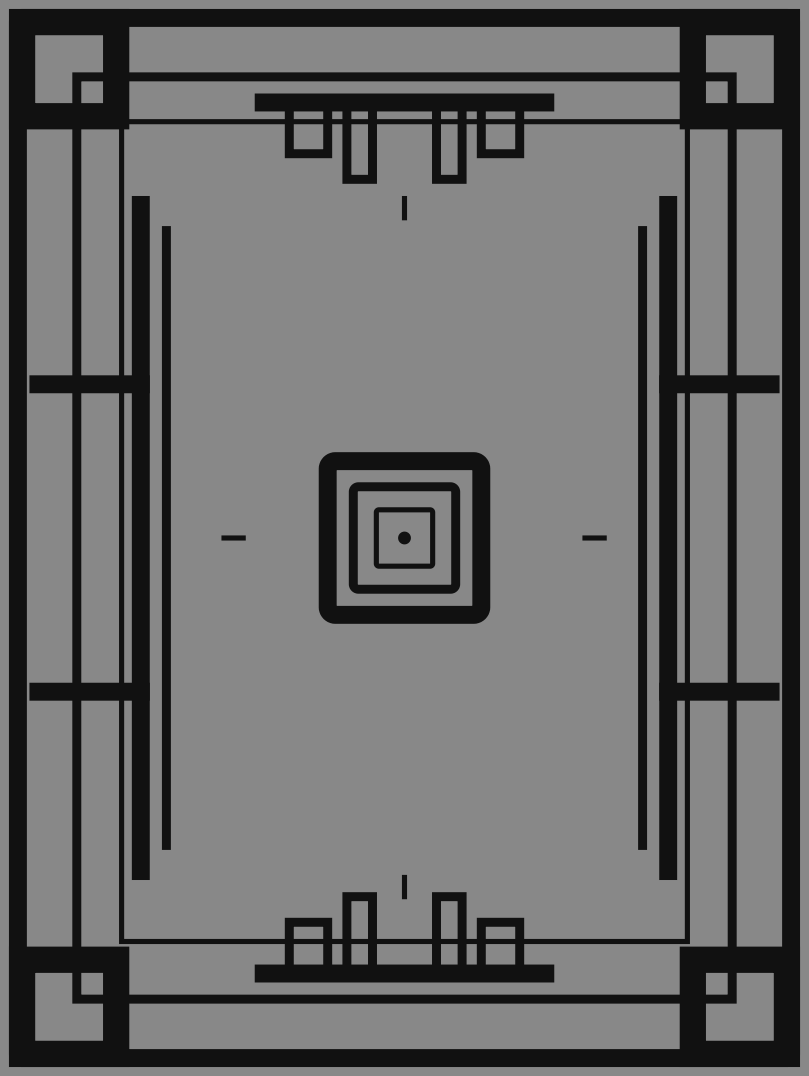


Человек, который любил нереид

Маргерит Юрсенар

Маргерит Юрсенар. ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ЛЮБИЛ НЕРЕИД

Маргерит Юрсенар
ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ЛЮБИЛ НЕРЕИД

Босой, потный от жары, пропахший рыбой, он стоял в пыли под тонким тентом маленького кафе, где несколько посетителей упали без сил на стулья в тщетной надежде защититься от мучительных лучей.

Его старые рыжие брюки едва доходили до лодыжек, а заостренная косточка, край пятки, длинные, мозолистые, все ободранные подошвы, гибкие чувствительные пальцы принадлежали тому сорту умных ног, привычных ко всяким сношениям с воздухом и землей, закаленных в столкновениях с неровностями камней, которые еще немного предохраняют в средиземноморской стране одетого человека от свободной непринужденности человека обнаженного.

Проворные ноги, такие разные — опоры неловкие и тяжелые, заточенные в туфли Севера…

Бледная голубизна его рубашки гармонировала с тонами неба, обесцвеченного летним светом, его плечи и лопатки сквозь порванную ткань смотрелись как тонкие скалы, а немного продолговатые уши обрамляли голову наподобие ручек амфоры. Несомненные остатки красоты еще проступали на изможденном, но свободном лице, как разбитая античная статуя возвышалась бы над бесплодной землей. Глаза больного зверя без

недоверия прятались под длинными ресницами мула. Правая рука его была напряжена в жесте архаических идолов, которые будто требуют от посетителей музеев милостыни любования. Из большого рта с ярко белыми зубами доносилось невнятное блеяние…

— Он глухонемой?

— Он не глухой.

Жан Деметриадис, владелец крупных мыловаренных заводов, воспользовался моментом, чтобы уронить драхму на гладкую плитку, когда мутный взгляд идиота обратился в сторону моря. Легкий звон, наполовину приглушенный тонким слоем песка, не ускользнул от слуха нищего. Он жадно схватил маленький кусочек белого металла и немедленно принял свое обычное задумчивое и жалкое положение чайки на набережной.

— Он не глухой, — повторил Деметриадис, ставя перед собой чашку, наполовину заполненную маслянистым черным осадком. — Его речь и дух оказались в таких обстоятельствах, что даже я — разумный, богатый человек — склонен ему завидовать. Слишком часто на своем пути я нахожу лишь скуку и пустоту. Это Панегиотис (так он сам себя называет), он стал немым в 18 лет, когда

встретил обнаженных нереид.

Робкая улыбка показалась на губах Панегиотиса, услышавшего свое имя. Казалось, он не понял смысла слов этого важного человека, в котором смутно почувствовал покровителя, но его привлек тон, каким они были произнесены. Счастливый тем, что говорят о нем, и надеясь на новое подаяние, он незаметно протянул руку боязливым движением собаки, которая царапает колено хозяина, чтобы тот не забыл ее покормить.

— Это сын одного из самых зажиточных крестьян нашей деревни, — продолжал Деметриадис, — и если смотреть не с нашей точки зрения, эти люди действительно богаты. Его родители владеют полями и не знают, что с ними делать. У них большой добротный дом, фруктовый сад, огромный огород, будильник на кухне, светильник перед иконостасом, — все, что нужно для жизни. Редкий молодой грек имеет кусок хлеба и обеспечен на всю жизнь так, как Панегиотис. Перед ним была проторенная дорога — пыльная, вымощенная булыжником, однообразная греческая дорога с поющими кузнечиками и остановками у каждой таверны. Панегиотис помогал старухам сбивать плоды с оливковых деревьев,

следил за упаковкой ящиков с виноградом и взвешиванием кулей шерсти. В спорах с покупателями табака он ловко поддерживал отца, поднимая цену до желаемой. Он был помолвлен с дочерью ветеринара, милашкой, работавшей на моей фабрике. Он был очень красив и мог иметь столько любовниц, сколько есть девушек в стране, любящих любовь. Поговаривали, что он увлек жену священника. Если это так, то священник ему не завидовал: он мало любил женщин и давно потерял интерес к своей. Она, кстати, путалась с кем попало. Представьте обыденное счастье Панегиотиса любовь красоток, зависть мужчин и иногда их желание, серебряные часы, каждые два-три дня — свежая рубашка, выглаженная матерью, плов в полдень, серо-зеленый благоухающий узо перед вечерним приемом пищи. Но счастье так недолговечно: если не люди, то призраки нарушают его. Вы, может быть, не знаете, что наш остров населен странными существами. Они не похожи на ваших северных призраков, которые появляются только в полночь, а днем находят приют на кладбищах. Наши духи пренебрегают белыми одеждами и состоят из плоти и крови. Но они, возможно, более опасны, чем души умерших, которые, в большинстве

своем, не были окрещены, познали жизнь и то, из-за чего обычно страдают. Это нереиды наших селений. Они безобидны и злы, как природа, то охраняющая, то разрушающая человека. Античные боги и богини действительно умерли, а в музеях — только их мраморные трупы. Наши нимфы больше похожи на ваших фей, чем на тот образ, который вы создаете после Праксителя. Но наш народ верит в их могущество: они существуют так же, как земля, вода и жгучее солнце. В них свет лета становится плотью, и поэтому увидеть их можно, только помутившись рассудком. Они появляются только в ужасный час полудня.

Они словно погружены в тайну дня в его разгаре. Когда крестьяне наглухо запирают двери своих домов перед сиестой, они боятся не солнца, а нереид.

Эти роковые феи очень красивы, обнажены, свежи и пагубны, как вода, зараженная холерной палочкой. Те, кто увидел их, медленно сгорают от желания и неги, те, кто имел дерзость к ним приблизиться, теряют дар речи и уже не говорят никогда — они не позволят разгласить секреты своей жизни.

Однажды, июльским утром, два барана из отары отца Панегиотиса заболели.

Эпидемия мигом распространилась на лучшие головы, и квадрат утоптанной земли перед домом быстро превратился в убежище для отторгнутых животных.

Панегиотис отправился один по несносной жаре на поиски ветеринара, жившего на противоположном склоне горы Сант-Эли, в деревушке, притаившейся на берегу моря. Он не вернулся на закате. Беспокойство отца Панегиотиса с баранов переместилось на сына. Обшарили все селенье и ближние долины, но напрасно.

Всю ночь женщины молились в деревенской часовне, сооруженной в амбаре, освещенном двумя дюжинами восковых свечей, где ежеминутно казалось, будто вот-вот войдет Мария, готовая дать миру Иисуса. В понедельник вечером, в час отдыха, когда мужчины сели вокруг стола на деревенской площади: кто за крошечной чашечкой кофе, кто за бокалом воды или ложкой варенья, они увидели нового Панегиотиса. Он так сильно изменился, будто вырвался из лап смерти.

Его глаза блестели, но казалось, что и белок глаза, и зрачок поглощены радужной оболочкой. Два месяца малярии не выжелтили бы человека больше. Его губы кривились в бессмысленной улыбке и уже ничего не произносили. Однако он

еще не полностью утратил дар речи. Отрывистые слоги вырывались из его рта подобно последним всплескам исчезающего источника:

— Нереиды… Королевы… Нереиды… Красавицы… Обнаженные… Это потрясающе… Белокурые… Совсем светлые волосы…

Это были единственные сведения, которые из него удалось вытянуть. Некоторое время спустя от него много раз слышали медленные ласковые повторы…

— Светлые волосы… Белокурые… — как если бы он поглаживал шелк. Потом и это прекратилось. Глаза перестали лучиться, взгляд стал смутным, рассеянным и словно остановился: он, не моргая, созерцал солнце. Может быть, он находил какое-то удовольствие в наблюдении за ослепительным золотистым предметом.

Я был в деревне в первые недели его помешательства. Болезнь не была горячкой, никаких симптомов солнечного удара или кашля. Родители отправили его в славящийся среди местных жителей монастырь для очищения духа: он согласился на это с покорностью больного барашка. Но ни религиозные церемонии, ни окуривание фимиамом, ни магические пассы деревенских колдуний не могли изгнать из его крови неуправ-

ляемых солнечных нимф. Первые дни его новой жизни проходили в непрерывных хождениях взад-вперед: он без устали возвращался на место, где ему было видение — к источнику, из которого рыбаки брали пресную воду, к ложбине, к полю смоковниц, откуда бежит тропинка к морю. Люди верили, что в редкой траве можно заметить легкие отпечатки женских ног (следы почти невесомых нереид).

Представляют подобную сцену: солнечные дорожки в тени смоковниц (тень на самом деле не тень, а лишь более зеленая и более мягкая форма света), молодой деревенский парень, предупрежденный улыбками и криками женщин, как охотник — шумом хлопающих крыльев; божественные девы, поднимающие свои белые руки, светлый пушок на которых светится на солнце; тень от листка, упавшая на обнаженный живот; светлая женская грудь, чье острие становится розовым и ничуть не отливает фиолетовым; поцелуи Панегиотиса, уничтожающие эти волосы цвета меда; его желание, тонущее в их светлых ножках. Так же, как нет любви без ослепления сердца, почти нет и настоящего наслаждения без восхищения красотой. Остальное — не больше машинальных функций, вроде утоление

голода или жажды. Нереиды пустили молодого безумца в мир, настолько отличный от мира девушек, насколько они сами отличаются от самок животных. Они принесли ему опьянение неизвестным, изнурение чудом, одарили его искрящимися злодеяниями счастья. Говорят, с тех пор он всегда встречает их в жаркие часы, когда эти прекрасные полуденные демоны бродят в поисках любви; кажется, он забыл даже лицо невесты, потому что отворачивается от нее, будто та — уродина; он плюет, когда проходит жена попа, проплакавшая два месяца о его болезни. Нимфы одурманили его, чтобы легче вовлечь в свои игры, как простодушного фавна. Он больше не работает и не заботится о днях и месяцах. Он стал одним из тех нищих, которые едят, когда почувствуют голод. Он бродит повсюду, избегая больших дорог, углубляясь в поля или в леса во впадинах пустынных холмов. И утверждают, что цветок жасмина на сухой каменистой стене или белый камень у подножья кипариса служат ему знаком того, где и когда он снова встретит фей. Крестьяне уверяют, что он не состарится: он выцветет, как все, к чему прикоснулась нечистая сила, независимо от того, на сколько лет выглядит на восемнадцать или на сорок. Но его колени

дрожат, его рассудок исчезает, чтобы больше не появиться, и способность говорить не родится вновь: уже Гомер знал, что силы и рассудок тех, кто спал с золотыми богинями, сгорели. Но я завидую Панегиотису. Он ушел из реального мира, чтобы войти в мир иллюзий, и иногда я думаю, что иллюзия — это форма, которую принимают в обычном восприятии тайные реальности.

— Но Жан, — с раздражением сказала мадам Деметриадис, — вы ведь не думаете, что Панегиотис действительно лицезрел нереид?

Жан Деметриадис не ответил, занятый тем, чтобы приподняться и поприветствовать трех иностранок, проходивших мимо. Три молодые американки в одежде из белой парусины шли мягкой походкой по залитой солнцем набережной в сопровождении старого носильщика, который сгибался под тяжестью провизии, купленной на рынке.

Как три маленькие девочки, выходящие из школы, они держались за руки. Одна из них шла с непокрытой головой, с веточкой мирта в рыжих волосах, вторая была в огромной шляпе из мексиканской соломки, третья же, как крестьянка, нарядилась в платок из хлопка, и солнечные очки с черными стеклами защищали и скрывали ее ли-

цо, как маска. Эти молодые женщины устроились на острове: купили дом подальше от больших дорог, ночью со своей собственной лодки ловили трезубцем рыбу, осенью охотились на перепелок; ни с кем не общались и сами делали покупки из-за страха впустить в интимность жизни экономку; наконец, уединялись, упорно, чтобы избежать сплетен, может быть, предпочитая им клевету. Я тщетно пытался перехватить взгляд, брошенный Панегиотисом на этих богинь, ибо его рассеянные глаза остались пустыми и бесцветными; очевидно, он не узнал своих нереид, переодетых женщинами. Внезапно он нагнулся, чтобы мягким движением, как животное, поднять еще одну упавшую из наших карманов драхму, и я заметил на грубой шерсти его куртки, наброшенной на плечи и закрепленной бечевками, случайное, но неоспоримое доказательство моей убежденности: шелковистая ниточка, тонкая ниточка, затерявшаяся ниточка светлых волос.